

№ 0 9 № Д ю в а л ь

ВОСПОМИНАНИЯ О ТЕРРОРЕ

К 229-й годовщине взятия Бастилии

Жорж-Луи-Жак Лабиш (1772–1853), более известный как Жорж Дюваль — драматург, автор ряда пьес, шедших на сценах маленьких парижских театриков, и множества водевилей, созданных в основном в содружестве с различными авторами — Арманом Гуффе, Рене де Шазе и многими другими. Всего его перу принадлежат около семи десятков пьес, которые в наши дни прочно забыты. Современник Французской революции, заставшей Дюваля в Париже, он — уже в зрелом возрасте — написал две книги воспоминаний: «Воспоминания о Терроре» (1841–1842) и «Воспоминания о Термидоре» (1843). Это яркие картины, которые, по его собственным словам, «навсегда запечатлеваются в памяти, особенно когда тебе всего шестнадцать лет». «Я описываю эти события так, словно они произошли сегодня, как будто они вновь разворачиваются перед моим взором, а потому не опускаю ни малейших деталей, — пишет Дюваль в предисловии. — Когда случилась революция, я только что вышел из коллежа. Национальное собрание, именуемое Конституантой, начало не с установления нового, а с разрушения всего существующего, закрыв, таким образом, почти все поприща, некогда возможные для человека, получившего определенное образование. Что оставалось делать такому бедолаге-школяру, как я? Ждать и наблюдать. И я наблюдал. Не имея иных занятий, я в полной мере занимался ремеслом бездельника, но могу смело утверждать, что никогда более я не проводил время столь насыщено, нежели в те печальной памяти годы. Не было ни одного уличного мятежа, ни одного национального торжества, в которых бы я не поучаствовал. Волнения в предместьях, патриотические процессии, разграбление булочных, очереди за хлебом, за мясом, за мылом, стихийные сборища в садах Пале-Руаяля и на террасе Фельянов — я успевал всюду. Но я знал, что все события, свидетелем которых я стал, какими бы

жуткими, жестокими и отвратительными они ни казались, в свое время станут историей, и я был рад, что видел все собственными глазами, чтобы потом иметь возможность самому судить о том, насколько их искажают по неведению или по расчету».

Но сам Дюваль — тоже не беспристрастный свидетель, он яростный противник революции, а потому рассказ о многих, ставших хрестоматийными, событиях тех дней в его устах звучит однозначно отрицательно. Как частное лицо Дюваль в большинстве своем обращает внимание на детали, за которыми зачастую теряется историческое значение происходящего. Но именно из впечатлений очевидцев, из их рассказов и складывается живая история повседневности, которая, откликаясь на великие потрясения эпохи, идет своим чередом во все времена.

Ниже с небольшими сокращениями приводится рассказ Дюваля об одном из самых «пронырливых» (по словам Жоржа Ленотра) участников штурма Бастилии 14 июля 1789 года — об аббате де Ла Рейни де Ла Брюйер, и воспоминания самого Дюваля о праздновании первой годовщины падения Бастилии.

11 июля 1789 года я завтракал вместе с аббатом де Ла Рейни у аббата де Сартре. Когда часы на ратуше пробили десять, с улицы донесся ужасный шум. Бросившись к окнам, мы увидели, как Гревская площадь стремительно заполняется возбужденным народом.

— О Господи, что это значит? — испуганно спросил аббат де Сартре.

— Да, собственно, ничего, — с мефистофелевской улыбкой ответил де Ла Рейни, — в канун завтрашнего праздника люди собрались к вечерне.

— Завтрашнего праздника?

— Да, мой дорогой брат, его пока еще нет в календаре, но, ручаюсь, скоро он займет в нем свое место — когда мы выкинем оттуда всех святых...

Произнеся эти странные слова, де Ла Рейни внезапно попрощался с нами, стремительно сбежал по лестнице, быстро дошел до ратуши и, взбежав на крыльцо, минут десять вещал о чем-то перед собравшимся народом, а потом во главе толпы удалился по набережной Пеллетье.

На следующий день, а именно в воскресенье 12 июля, в восемь часов вечера мы снова видим аббата де Ла Рейни ораторствующим перед скоплением людей на Гревской площади и раздающим кокарды зеленого цвета,

напоминающие листок тополя, сорванный Камиллом Демуленом в саду Пале-Руаяль. Признаюсь, сам я не видел, как аббат раздавал кокарды, ибо 12-го находился в другом месте, но я уверен, что это был он.

А назавтра, 13 июля, аббат де Ла Рейни, у которого от духовного лица давно уже осталась одна лишь сутана, с утра повел ватагу мятежников к Дому Инвалидов, чтобы забрать хранившееся там оружие. Вечером того же дня он велел тряпичникам из предместья Сен-Марсо поджечь заставу Гобеленов, а в полночь он сам во главе шайки злодеев отправился в Сен-Лазар, обнесенное стеной владение отцов-миссионеров, где помимо монастыря находились коллегия, семинария и тюрьма для женщин недостойного поведения, где также содержались умалишенные. Аббат и его молодчики высадили ворота, освободили заключенных, выпили хранившиеся в подвале вина и ликеры, подожгли амбары с зерном, разграбили все окрестные дома, и в довершение разгрома забрали сотню мешков с мукой, погрузили их на две телеги и торжественно доставили в ратушу.

Во вторник же, 14 июля, на рассвете, аббат был замечен на площади Бодуайе, где он вместе с парикмахером Сире и холодным сапожником Шаландоном, впоследствии ставшим председателем революционного комитета секции Вооруженного Человека, формировали отряд будущих участников штурма Бастилии. Между часом и двумя часами пополудни, после того, как купеческого прево Флесселя растерзали на Гревской площади, но стрелять еще не начали, я встретил аббата во главе полка, шагавшего по улице Нонандьер. Де Ла Рейни был в сутане с надетой поверх перевязью, на которой болталась сабля, а в руках он держал ружье, одно из тех, что вчера забрали в Доме Инвалидов. И хотя отряд не замедлял шаг, я не удержался и спросил аббата, куда он идет.

— На войну! За славой!

— В сутане?

— Почему бы и нет? Проповедник Феардан шел в процессиях Лиги с мушкетом под мышкой, в кирасе под рясой и в стальном шлеме на голове. Так что ничего удивительного, что я в сутане иду осаждать Бастилию! Впрочем, я также иду туда как капеллан, чтобы заботиться о раненых как добрый самаритянин и отпускать грехи умирающим. А вы с нами?

— Благодарю. У меня дела в ином месте.

И сей служитель Господа отправился штурмовать Бастилию. И надо сказать, де Ла Рейни показал там себя далеко не трусом: он одним из первых ворвался в древнюю крепость, сорвал с груди ее коменданта де Лонэ крест Святого Людовика и гордо украсил им свою сутану. Щеголяя

наградой, добытой на поле боя, он присоединился к тем, кто, схватив за шиворот несчастного коменданта, потащил его к ратуше, на ступенях которой его потом и убили. Не утверждаю, что аббат де Ла Рейни находился среди убийц коменданта Бастилии, я этого не знаю, но в принципе он вполне был на это способен. Если бы аббат дожил до тех дней, когда господин де Лафайет назначал пенсии оставшимся в живых участникам штурма Бастилии, я бы посчитал своим долгом привлечь особое внимание достойного маркиза к этому ветерану свободы за его многочисленные героизма, совершенные в тот достопамятный день. Об одном из наиболее выдающихся его подвигов я и намерен вам поведать.

На протяжении десяти минут аббат де Ла Рейни наблюдал, как расправлялись с майором Деломом, лейтенантом Персаном и остальными офицерами бастильского гарнизона. Неожиданно он вспомнил, что в тюремной часовне хранилась дорогая церковная утварь, и быстро направился обратно в крепость, поскольку желал убедиться в ценности этих предметов. В поисках входа в часовню на первом этаже башни, именуемой Бертодьерой, он встретил старого капеллана, который, дрожа как осиновый лист, пытался спастись от избытка патриотических чувств захватчиков крепости. Наш аббат тотчас сообщил ему, что также является служителем церкви, и предложил объединить усилия, чтобы изъять священные реликвии, дабы те не подверглись осквернению со стороны нечестивой черни. Добрейший капеллан, видя перед собой человека в сутане, доверчиво проводил его в святую часовню. Когда де Ла Рейни отыскал драгоценную утварь, он положил в каждый карман по чаше, засунул в свой громадный поясной кошель диски, спрятал под сутаной две дароносицы и на глазах у изумленного капеллана направился к подъемному мосту, унося с собой дорогостоящие реликвии. Впрочем, аббат обещал капеллану и даже дал ему слово священника, что доставит всю утварь в ризницу церкви Сен-Жан-ан-Грев.

По дороге планы аббата изменились; он решил, что утварь будет в большей безопасности в комнате девицы легкого поведения, проживающей на узенькой улочке Сен-Бон; у нее де Ла Рейни иногда отдыхал от своего бремени священнослужителя. К несчастью для достойной парочки, несколько щепетильных граждан сообщили об этом в Шатле судье по уголовным делам, и тот 8 августа приказал арестовать злосчастного аббата прямо в доме его любовницы, где была найдена большая часть вышеуказанной утвари. Де Ла Рейни и девицу арестовали и посадили в тюрьму Шатле. Суд, проходивший за закрытыми дверями, должен был вынести

арестованным приговор; но непрерывно заседавшее в ратуше собрание выборщиков решило вырвать их из когтей судьбы по уголовным делам и потребовало их освобождения. Партия, какой бы она ни была, только тогда бросает на произвол судьбы таких людей, как аббат, когда больше не нуждается в их услугах. Зная, что на аббата де Ла Рейни оно всегда может рассчитывать, собрание выборщиков вырвало аббата и его любовницу из рук правосудия. Достойные выборщики утверждали, что де Ла Рейни украл крест Святого Людовика у господина де Лонэ и религиозную утварь из Бастилии исключительно из политических убеждений, а за такой поступок суд Шатле судить его не вправе. Этот довод показался судьям настолько серьезным, что и аббата, и девицу полностью оправдали, и они вышли из тюрьмы чистые, как ясный день, словно против них никакого уголовного процесса и не начинали. Оказавшись на свободе, де Ла Рейни стал громко жаловаться на преследования, коим он подвергся со стороны аристократов, и, кичась своей невиновностью, бесстрашно обвинил в клевете *Journal de Paris* и еще пару газет, осмелившихся в своих отчетах о заседании суда усомниться в честности аббата. Тем не менее, де Ла Рейни последовал совету друзей, которые, исходя из принципа христианского милосердия, уговорили его забрать жалобу; думается мне, он поступил правильно. Но когда он окончательно выбросил свою рясу, а вместо нее облачился в мундир канонира, он, по-моему, поступил, еще лучше.

У этого деяния аббата есть и смешная сторона. Два дорогих церковных сосуда продали еврею с улицы Бобур; не знаю точно, сколько он за них заплатил, знаю только, что обошлись они ему недешево. Решив половину вырученной суммы отдать в качестве патриотического дара Национальному собранию, аббат де Ла Рейни велел это сделать своей любовнице. Та согласилась, присоединив к деньгам аббата свое ожерелье из поддельного жемчуга и сопроводив дар письмом, написанным под диктовку аббата. Вот дословное воспроизведение этого письма: «Господа, сердце мое создано для любви; занимаясь любовью, мне удалось кое-что скопить. Я приношу свои накопления в дар отечеству. И да последуют моему примеру все мои товарки, какого бы звания они ни были!» В августе 1789, когда развращенность нравов еще не возвели в ранг закона, а разрушение общественных устоев только начиналось, Национальное собрание приказало внести в протокол своего заседания упоминание о даре этой добродетельной гражданки.

Спустя несколько дней философ Кондорсе писал своему другу: «Почва вспахана, и предрассудки искоренены; актрисы и девицы, заслужившие

почетного упоминания в Собрании, вернулись в лоно отечества, открытое для всех его чад».

* * *

Одно стекло обладает способностью увеличивать предметы, другое — уменьшать их, простое же стекло позволяет видеть предмет таким, какой он есть. И сегодня я вставляю в свой волшебный фонарь простое стекло, ибо намереваюсь показать вам события, предшествовавшие достопамятному празднованию Дня Федерации, сопровождавшие это торжество, а также за ним последовавшие. Волею заинтересованных партий празднество 14 июля отличалось ярким мишурным блеском, а потому я хочу отделить в этом торжестве главное от второстепенного. Картина, нарисованная мною, не обладает ни изысканным рисунком, ни яркостью красок, а потому значительно отличается от той, которой шарлатаны от революции вот уже полвека предлагают вам восхищаться; достоинство моей картины заключается в ее подлинности.

Например, вас убедили, что все без исключения население столицы стремилось помогать двенадцати тысячам рабочих, трудившимся над возведением посреди Марсова поля алтаря отечества и сооружавшим насыпи, где предстояло разместиться многим тысячам зрителей, которые придут посмотреть на торжество. Что все, молодые и старики, богачи и бедняки, объединенные трогательными узами братства, перелопачивали землю наперегонки друг с другом. Что все эти совершенно разные люди усердно трудились, а в минуты отдыха танцевали под незатейливые звуки нескольких оркестров, расположившихся там же, на открытом воздухе, и пели патриотические песни, простодушно выражавшие народную радость. Что герцогини, маркизы и графини впрягались вместе с рыбными торговками в груженные землей и камнями тележки и дружно тянули их, обмениваясь веселыми шутками. Вам говорили, что судейские, чиновники и кюре, за которыми следовали их патриотически настроенные прихожане, соревновались, кто подвезет больше земли для возведения алтаря отечества. Вас убедили, что куртизанка и мать семейства вместе грузили камни на тележку, которую затем толкал епископ, монах или аббат. Все это столько раз сказано, повторено, написано и напечатано, что вам оставалось только поверить, что в дни подготовки к празднеству на Марсовом поле наблюдали волшебное зрелище, воспроизводившее сцены из времен золотого

века. Но не думайте, что все происходило именно так, ибо эти слащавые рассказы в большинстве своем лживы, как и сама революция, в которой все, что не являлось преступлением, оказывалось ложью и сулило лишь разочарование.

Прежде всего, лицемерно заявление, что копать землю приходили даже епископы: в то время еще не было конституционных¹ епископов. Неправда, что на стройке трудились монахи: декретом Национального собрания от тринадцатого февраля религиозные ордена упразднили, ибо их устав не соответствовал Декларации прав человека, поэтому ни один монах не дерзнул прийти на работы на Марсово поле в облачении своего ордена. А если несколько рабочих и явились в костюмах капуцинов или в монашеских рясах, то это была всего лишь шутка. По крайней мере, я сам не видел ни одного настоящего монаха. Однако несколько аббатов там все же отметились. Ими оказались несчастные семинаристы, силой приведенные гражданами своих дистриктов; смущенные и запуганные, эти юнцы с тонзурой терпели бесстыдные заигрывания и непристойные шуточки многочисленных девиц легкого поведения, чей громкий смех приводил молоденьких аббатов в замешательство. На стройку явилась и целая ватага пронырливых школяров, вычитавших в революционном Евангелии от Лафайета, что восстание является святой обязанностью гражданина. Желая оказать помощь героям взятия Бастилии и 5 октября², а также поглазеть на несравненную амазонку Теруань де Мерикур, расхаживавшую с саблей на перевязи и парой пистолетов за поясом, школяры, бросив уроки и поколотив привратников, выломали двери и бежали из своих коллежей. После всего вышесказанного не стану отрицать, что в числе работавших на Марсовом поле оказалось немного почтенных граждан, равно как и баронов, графов и маркизов, а также сколько-то баронесс, маркиз и графинь. Но как они туда попали, я сейчас расскажу.

Организаторы, старавшиеся представить эти работы как результат всеобщего радостного порыва граждан, хотели показать поколению нынешнему и убедить поколения грядущие, что все классы парижского населения добровольно принимали в них участие. А вот что они делали, чтобы подстегнуть рвение тех, кто с большим удовольствием

¹Во время революции духовных лиц обязали приносить присягу на верность конституции, но закон об этом был принят только в ноябре 1790.

²5 октября 1789 толпа разгневанных женщин явилась в Версаль и вынудила короля вместе с семьей и двором перебраться в Париж.

остался бы дома, чем равнял кучи земли напротив Военной школы. С раннего утра вооруженные лопатами и мотыгами оборванцы бежали по улицам, главным образом по улицам Сен-Жерменского предместья, и с криками «На Марсово поле! Все идем на Марсово поле!» колотили в двери роскошных особняков и приличного вида домов и добровольно или силой уводили их мирных обитателей пополнять когорты людей доброй воли, разравнивавших землю и сооружавших трибуны. Когда разбуженные люди прибывали на место, их осыпали насмешками, отпускали на их счет двусмысленные шуточки и заставляли возить самые нагруженные тележки. По завершении трудового дня изнуренных, а вовсе не исполненных энтузиазма людей провожали громкими патриотическими песнями, в чем я убедился лично. Мелодии этих песен в основном отличались приятностью, чего нельзя сказать о словах. Позволю себе привести всего лишь несколько куплетов, чтобы вы могли представить, какие чувства могли при этом испытывать подневольные строители алтаря отечества. Прежде всего, это знаменитые куплеты *Ça ira* («Дело пойдет на лад»):

*«Ah, ça ira, ça ira, ça ira,
На фонари аристократов,
Ah, ça ira, ça ira, ça ira,
Их перевешать всех пора».*

А также зажигательная Карманьола:

*Мадам Вето могла грозить
Нас всех в Париже перебить,
Но дело сорвалось у ней
Все из-за наших пушкарей.
Отпляшем Карманьолу. Славьте гром!¹*

Но особенно часто распевали куплеты на мотив песенки *Vive Henri IV*, и сами видите, с каким злорадством эти куплеты выбирали:

*Аристократы,
Вам всем крышка,
От демократов*

¹Перевод В. Рождественского.

*Вы пинок получите под зад.
Аристократы,
Вас всех перевешают.*

Эти песни, простодушно выражавшие народную радость, как писал Камилл Демулен в своей газете «Революции Франции и Брабанта», звучали на Марсовом поле вместе с другими, им подобными и столь же патриотическими. А так как пели главным образом те граждане, кто готов был исполнить то, о чем говорилось в рефренах, сами понимаете, с каким удовольствием слушали их те, для кого они предназначались. Понятно, что такое подбадривание не прибавляло рвения трудившимся дворянам, и тогда в один из дней на стройку явилась делегация корпорации мясников. Во главе ее шли трое, один из которых нес огромный красный флаг с вышитой белыми нитками надписью: «Трепещите, аристократы, идут мясники!» Двое других, выступавших по обе стороны от знаменосца, в качестве разъяснения столь красноречивой надписи несли пики с насаженными на них окровавленными бычьими сердцами. В роли знаменосца выступал знаменитый мясник Лежандр¹.

Пока продолжается радостная подготовка к празднику 14 июля 1790 года, посмотрим, позволяло ли положение вещей предаваться искренней радости, узнаем, что принесло нам прошлое, попробуем определить, что сулит нам будущее, и поговорим о доблестном подвиге, годовщину которого намеревались столь пышно отмечать. Бастилию защищала горстка инвалидов, имевших в своем распоряжении менее дюжины пушек, почти половина которых пришла в негодность; крепость взяли в результате героического штурма. Но тут мне хочется спросить: почему мятежники решили осаждать Бастилию? Я бы их понял, если бы они направила свой гнев на Бисетр²: среди участников штурма находились те, кто успел побывать в этой тюрьме, и те, кто справедливо опасался туда попасть. Но Бастилия! Какое отношение мятежники имели к государственной тюрьме, предназначенной для придворных и говорливых философов? Говоря о поводах для торжества, я готов показать тем, кто полагает преступления революции единичными, что уже с первых дней работы Конституанты эта революция дала множество убедительных доказательств

¹Лежандр Луи (1752-1797) – якобинец, депутат Конвента, член Комитета общественной безопасности.

²Парижская тюрьма, куда заключали всех «нежелательных элементов» общества: убийц, мошенников, бродяг, нищих, умалишенных, сифилитиков.

своей дурной натуры, ибо уже в младенчестве она вместо молока питалась кровью, а в колыбели играла в трупы. Теперь перейдем к свидетельствам и сразу скажем, что сигнал к убийствам, совершенным в провинции, подали с крепостных стен Бастилии, оказавшейся в руках народа. Сначала мы расскажем, как 26 июля мельник по имени Соваж сопровождал обоз с мукой, направлявший из Пуасси в Париж. Когда обоз проезжал городок Сен-Жермен-ан-Лэ, народ попытался задержать его. Соваж оказал сопротивление; тогда его схватили и вздернули на фонаре, а когда он перестал дышать, отрезали голову и, насадив ее на пику, торжественно носили по улицам, подражая парижанам. Столица всегда задавала тон провинции. Из Сен-Жермен-ан-Лэ перенесемся в Сен-Дени. Мэр этого городка по имени Шатель, добросовестный чиновник и добродетельный гражданин, постоянно следил за тем, чтобы город бесперебойно снабжали хлебом. Но его обвинили в том, что цена на хлеб очень высока, и толпа направилась к нему в дом. Несчастному удалось бежать и спрятаться в церкви на колокольне, однако там его обнаружил какой-то мальчишка и сообщил преследователям. Женщина, вооруженная тесаком, вызвалась отрубить мэру голову. Кажется, этого не произошло, ибо, насколько нам известно, Шателя убили, но его голову по улицам не носили. Жена Шателя, узнав о трагической кончине супруга, бросилась в колодезь перед домом.

Мэра Сен-Дени убили 1 августа; в тот же день чернь Ле Мана направилась в замок Жюине, где укрылся господин де Монтессон, брат депутата от дворянства. Его тестя, господина Кюро, в чем-то обвиняли; впрочем, для того, чтобы вас настигла справедливая месть народа, причин и не требовалось. Толпа ворвалась в замок, нашла обоих несчастных, отрезала им нос и уши, а затем и голову; местных муниципальных советников заставили присутствовать при этой расправе.

12 августа, когда в церкви мужского аббатства в Кане исполняли *Te Deum* по случаю принятия Людовиком XVI титула Восстановителя французской свободы, толпа озверелых горожан ворвалась в казармы Бурбонского полка и схватила майора Бельзенса — только потому, что Марат в своей газете назвал майора контрреволюционером. Майора приволокли на церковную паперть и под звуки молитвы расстреляли в присутствии городских советников, которые либо струсил, либо не сумели спасти несчастного. Труп Бельзенса расчленили и растащили по частям, а один человек унес кусок домой, где велел его зажарить и съел его. Я не придумываю, я всего лишь рассказчик, и скоро я поведу вас на Марсово поле, где мы примем участие в общественных увеселениях. Господина Бертеа, богатого него-

цианта из города Сент-Этьен, заподозрили в укрывательстве зерна. Толпа направилась к его дому; мэр и двое муниципальных служащих, имея похвальное намерение спасти негоцианта, отвели его в тюрьму: напрасная уловка! Народ устремился к тюрьме, вломился в камеру Бертеа, выгнали его на улицу и разорвал на части прямо на тюремном пороге. 10 октября некто по имени Лапланш прибыл в городок Варез и заявил крестьянам, что согласно новым законам им не надо больше платить подати своим сеньорам. Судьи из Сен-Жан-д'Анжели приказали арестовать смутьяна; судебный исполнитель, которому поручили это сделать, в сопровождении тридцати бретонских стрелков отправился в Варез и арестовал Лапланша. Возмущенные крестьяне попытались освободить арестованного; началась потасовка, стоившая жизни десяти бретонским стрелкам и пятнадцати или двадцати крестьянам. Забил набат, отовсюду зазвучали призывы к восстанию, и разгоряченная толпа захватила мэра — за то, что тот позволил арестовать Лапланша. Мэра связали и сначала хотели повесить на крыле мельницы, но потом связанным повели в Сен-Жан-д'Анжели, где толпа, состоявшая из более, чем двух тысяч крестьян, потребовала освободить Лапланша. Власти согласились — при условии, что крестьяне отпустят мэра Вареза. Крестьяне дали согласие на обмен; но как только Лапланш вышел из тюрьмы, мэра тотчас убили. А несколькими днями ранее рота национальных гвардейцев города Труа задержала три воза муки. Судебный исполнитель, капитан этой роты, проверил муку и заявил, что она испорчена; мэр Юэз не согласился с ним и продолжал утверждать, что мука хорошая; тогда капитан обвинил мэра в том, что тот намерен получить свой барыш от продажи этой муки; услышав это обвинение, толпа набросилась на мэра и убила его. А одна женщина выколола ему глаза ножницами!

Париж тоже не давал забыть о себе. В конце сентября во время какого-то пустякового спора между лейтенантом жандармерии и офицером национальной гвардии из предместья Руль лейтенант, по слухам, оскорбительно высказался о национальной гвардии, и его немедленно застрелили. В первую неделю ноября врач Бове, председатель дистрикта Премонстрантов, был убит за то, что неодобрительно отозвался о днях 5 и 6 октября.

Все эти злодеяния случились в 1789 году: как видите, их не так уж мало, а в 1790-м будет столько же, если не больше. В конце января 81-летний советник парламента Дижона Фиц-Жан де Сент-Коломб, обвиненный в укрывательстве зерна, был растерзан народом, а его труп подвергся самым недостойным надругательствам. В Марселе коменданта форта

Сен-Жан постигла не менее жестокая участь. В апреле коменданта крепости Валанса убили выстрелом из ружья, а присутствовавшие при этом женщины потребовали, чтобы им дали отрезать ему голову, и им никто не воспрепятствовал.

Но, возможно, вы скажете, что это всего лишь отдельные преступления и число их, в сущности, не велико. Не стану возражать, а лишь постараюсь показать вам более полную картину творившихся бесчинств, показать Францию, где всюду хозяйничают разбойники. С факелом в одной руке и с кинжалом в другой, они несут смерть и опустошение, поджигают и грабят замки, убивая всех, кто в них живет. Во все века во всех странах чернь от природы склонна к беспорядкам и разрушениям, но нигде она не действует так неустрашимо, как во Франции, руководимой негодями, которые, используя революцию для своих честолюбивых замыслов и своей выгоды, стали сообщниками ее преступлений. Не прошло и трех месяцев со дня открытия Генеральных Штатов, как в одной только провинции Дофине сожгли тридцать шесть замков, чьи владельцы или были убиты, или бежали. Мятежи охватили Форез, Эльзас, Лионнэ, Франш-Конте. В Лионе толпа осадила особняк откупщиков и хотела поджечь его, а когда на защиту встали солдаты, их немедленно разоружили, а многих убили и сбросили их тела в Рону. В области Маконнэ гражданская милиция и регулярные части выступили против бандитов, которые жгли и грабили фермы и замки и убивали их хозяев. Настоящие сражения с регулярными частями произошли возле Вриньи и Макона и продолжались почти сутки. Они стоили жизни 1200 человек. В Орлеане 600 вооруженных работников с виноградников остановили в пригороде Банье телеги с зерном, предназначенным для продажи на городском рынке и разграбили их. Когда же прибыла национальная гвардия и линейный полк, чтобы отбить зерно, завязался бой: в результате 80 человек лишились жизни. В Божоле за десять дней сожгли 67 замков; шайке разбойников, явившихся сжечь городок Клуни, дали отпор вооруженные жители, потери которых составили пятьдесят человек. В Нормандии было разграблено сто пятьдесят замков. Когда дворянин по имени де Барра попытался защитить свой замок, его разорвали в клочья, а его голову водрузили на ограду его же собственного замка.

Чем же занималось Национальное собрание в то время, когда в стране разыгрывались описанные мною сцены, восстанавливавшие свободу? А вот чем. Когда напуганные честные люди приходили к депутатам и сообщали о новых злодеяниях, их оскорбляли, а мятежники, подчинившие

себе Собрание, даже угрожали им. Для зачинщиков преступлений Собрание не находило ни слов возмущения, ни даже порицания. Напротив, его члены почти единодушно аплодировали справедливой мести долго угнетаемого народа, и эти аплодисменты, эхом разносившиеся по всей Франции, служили предлогом и сигналом для очередных беззаконий. Громче всех аплодировал господин Мирабо. Сообщали ли о гражданской войне в Маконнэ, о мятеже во Вриньи или о грабеже фермеров в Босе, он восклицал: «В конце-то концов, что с того? Это первый шаг суверенного народа, сделанный им, чтобы добыть себе хлеб». А когда от Собрания требовали отомстить за смерть Бельзенса, мэра Сен-Дени, мэра Труа и многих других, Мирабо со своего места отвечал: «Народу иногда позволено осуществлять правосудие. Он всего лишь исполняет свой долг, собственноручно наказывая тех, на кого ему указывает глас общества». А герой американской войны маркиз де Лафайет вкрадчивым голосом (на заседании 23 февраля 1790 года) заявил, что «так как прежний порядок являлся рабством, то свобода может установиться только через хаос». При законодателях, исповедующих подобные максимы, хаос воцарится быстро и надолго.

Вот какой на самом деле была обстановка во Франции, начиная с 5 мая 1789 года и до 14 июля 1790 года; вот первые плоды революции, сулившей нам золотой век; вот тот счастливый порядок, который Федерацию призвали освятить! Вот что нам предстояло праздновать!

Наконец, засияло солнце долгожданного дня; впрочем, говоря засияло, я ошибаюсь: плотные и мрачные тучи заволокли солнце, похоже, не желавшее освещать августейшую церемонию, а дождь, который в предшествующие дни лишь робко брызгал на рабочих, наконец, пролился водопадом, дабы остудить энтузиазм зрителей.

Тем не менее, ужасная погода не помешала жителям Парижа и предместий уже с пяти утра начать собираться на Марсовом поле, дабы занять места на склонах, где располагались зрительские трибуны. Возможно, людей влекли сюда не только патриотические чувства, но и любопытство: толпа ищет толпу, а здесь многолюдье было обеспечено. В ожидании прибытия регулярных частей, отрядов национальной гвардии и исполнительной власти, как отныне именовали Людовика XVI, я скуки ради изучал лозунги, написанные на холсте и развешанные на триумфальной арке. Верхний этаж этой арки, сооруженной при входе на Марсово поле, именовавшееся сегодня полем Федерации, прогнулся под тяжестью множества привилегированных зрителей.

Вот первый поразивший меня лозунг:

«Мы не боимся вас, ничтожные тираны,
Вы угнетали нас, но нам теперь вы не страшны».

Прочитав его, я подумал, что гнет этих ничтожных тиранов, возможно, был более благодатным, нежели правление патриотов, отрезавших головы и вешавших неугодных им людей на фонарях; а ведь именно на патриотов революция возложила обязанность заботиться о наших делах.

Ниже я прочел:

«Только король свободного народа может стать подлинно могущественным королем».

Принимая во внимание зависимое положение Людовика XVI, подобный лозунг звучал исключительно глупо.

Отведя самые удобные места под высказывания Вольтера, на южной стороне триумфальной арки огромными буквами начертали не блистающие поэтической формой два стиха из знаменитого «Магомета»:

*Все смертные равны; и не рожденье,
А добродетель их различья составляет.*

Что совершеннейшая неправда, ибо есть немало других свойств, по которым люди отличаются друг от друга: сила, ум, красота, талант и еще много всего... Да и как можно говорить о добродетели, когда распоясавшееся преступление затопило Францию кровью и слезами, намереваясь вскоре единолично воцариться в ней!

Пока я предавался этим размышлениям, первый артиллерийский залп известил о прибытии регулярных войск и отрядов национальной гвардии из всех департаментов; к этому времени парижская национальная гвардия уже выстроилась, образовав двойную изгородь вдоль всего ограждения Марсова поля. Я поспешил занять место на скамье; едва я успел к нему пробраться, как на поле торжественно вступили федераты. Шествие, начавшееся около десяти часов утра, завершилось к часу пополудни. Посреди федератов, под охраной их штыков, в колонне по четыре под зонтиками торжественно шествовали депутаты Национального собрания. У подножия алтаря отечества они разделились на две колонны и стали занимать места в длинной галерее, начинавшейся у самого здания Военной школы. Отряды регулярных войск и национальной гвардии, выстроившиеся посреди поля Федерации, могли являть собой зрелище воистину величественное, если бы

небо оказалось к ним более благосклонно. Но потоки дождя следовали друг за другом с математической регулярностью, и эти воинственные граждане, заляпанные грязью до самого пояса и промокшие до костей, напоминали тритонов, сопровождающих колесницу Амфитриты; глядя на них, хотелось скорее смеяться, нежели восхищаться.

К полудню вместе с семьей прибыл Людовик XVI — я не осмеливаюсь написать король, — которому в этот день соблаговолили открыть ворота Тюильрийского дворца, ставшего его тюрьмой; он занял место на троне, обтянутом бархатом и расшитом золотыми лилиями; трон стоял на возвышении посреди галереи. На расстоянии трех шагов, на втором троне, также обтянутом бархатом с золотыми лилиями и установленном на таком же возвышении, что и королевский, уже сидел председатель Собрания. Таким образом, между ними соблюли полное равенство: троны отличались только цветом бархата: трон короля был красным, а трон председателя синим. Но продолжим.

Кто-то говорил, что во всех концах Марсова поля звучали восторженные возгласы: «Да здравствует нация!» Однако скажу — а поверите вы мне или нет, от этого ничего не изменится, — что в той стороне, где находился я, все горланили только одно: «Долой зонтики!» Ибо зонтиков было не меньше, чем штыков у солдат и гвардейцев, и они очень мешали любоваться шествием. Если хотите послушать иступленные крики «Да здравствует нация!», подождите еще четыре года, а потом пойдите на площадь Революции, когда там начнутся массовые казни: тогда каждую отсеченную гильотиной голову будут встречать радостными криками «Да здравствует нация!» Но, повторяю, в день Федерации на Марсовом поле я этих криков слышал очень мало, по крайней мере, на своей трибуне: за другие я не отвечаю.

Второй артиллерийский залп возвестил о начале известной вам религиозной пародии, так называемой мессы на открытом воздухе, которую служил епископ Отенский Талейран; ему помогали аббат Луи и аббат Деренод, все трое отступники. Поэтому сей нечестивый фарс никто не принял всерьез. Ведь всем известно, что, поднимаясь по лестнице, великий понтифик Отенский велел двум своим приспешникам не смешить его! На редкость благочестивые распоряжения перед началом святой мессы, а, главное, вовремя отданные, чтобы призвать на Францию благословение Неба! Вот так...

Третий залп возвестил, что служба окончена: *Ite, missa est...* Далее началось приведение к гражданской присяге, текст которой, написанный,

как и лозунги, на холсте, вывесили на триумфальной арке, чтобы его могли видеть со стороны Марсова поля. Вот эта присяга:

«Клянемся в верности нации, закону и королю, клянемся всеми силами поддерживать конституцию, провозглашенную Национальным собранием и утвержденную королем.

Клянемся защищать людей и их собственность, способствовать честной торговле зерном и сбору налогов и всеми силами крепить нерушимые узы братства».

Полагаю, впервые народ заставили присягать конституции, которую только предстояло выработать. Никто еще не знал, что это будет за конституция, однако весь народ как один покорно согласился с таким трюком и принес присягу на доверии. Так что сами можете представить, сколь фальшивой была эта пышная церемония!

После того, как национальные гвардейцы Парижа и провинций принесли присягу, Лафайет, вернувшись на свое место возле короля, сообщил Его Величеству, что настала его очередь присягать конституции. Король встал и громко зачитал текст присяги, навязанной ему Лафайетом, подлинным королем этого праздника. Стоя подле монарха, Лафайет показывал монарха народу Парижа, подобно тому, как Понтий Пилат показывал Христа иерусалимской черни. Казалось, этот тюремщик узников Тюильри говорил: вот человек, которому мы оставили только терновый венец и тростниковый скипетр: *Esse homo!* Вот человек, у которого на глазах мы хладнокровно убивали его верных слуг на окровавленных ступенях трона. Человек, которого мы пленили и доставили сюда, в добрый город Париж, где, желая посмеяться над ним, вручили ему ключи от городских ворот. Человек, которого мы взяли под стражу в его собственном дворце и подвергли его всяческого рода унижениям. *Esse homo!* Вот человек, которого сегодня мы заставили выйти из темницы, чтобы он присутствовал при триумфе наших извращенных доктрин и освятил своим присутствием годовщину того дня, когда взбунтовавшийся народ и солдаты, изменившие своей присяге, обрушили старое здание монархии на изуродованные тела ее верных защитников. Вот человек: *Esse homo!*

Когда Людовик XVI принес присягу, поклявшись в верности конституции, существовавшей пока только в проекте, епископ Талейран подал знак, и хор запел *Te Deum*, чтобы возблагодарить Господа за счастье и спокойствие, которым Франция теперь обязана революции. Когда хор умолк, торжества завершились, и все, солдаты и горожане, поспешили к своим очагам сушиться, ибо промокли до нитки.

В какую-то минуту, глядя, с какой сердечностью парижане и столичные национальные гвардейцы принимали федератов из провинций, можно было подумать, что любовь к отечеству, наконец, объединила всех французов и отныне все разногласия прекратятся. Все предавались этим сладостным мечтам, всем грезилось возвращение золотого века. Но золотой век не входил в планы восстановителей свободы, рассматривавших революцию как свою собственность. Случившиеся вскоре и сурово подавленные мятежи в Нанси и во многих других городах страны посеяли среди нас страх, рассеяли надежды на счастье и единство, о которых мы мечтали, и нам оставалось только созерцать печальную реальность.

Один историк революции завершил свой торжественный рассказ о церемонии, очевидцами которой мы только что стали, следующим эпизодом: «Этот блистательный праздник не омрачило ни одно происшествие, если не считать гибели восемнадцати федератов и двух дам, утонувших по пути на Марсово поле при переправе через Сену». От себя добавлю, что 31 июля в соборе Нотр-Дам отслужили заупокойную мессу по утопшим, дабы души их покоились с миром.

На протяжении всех дней, что продолжались празднества, Елисейские поля, Гревская площадь и место, где стояла Бастилия, утопали в грязи. Дождь лил как из ведра, а солнце показалось во всей своей красе только спустя день после завершения затянувшихся торжеств. Казалось, все эти дни светило специально пряталось за тучами. Посему чернь бесстыдно заявляла, что Господь стал аристократом. Если бы представилась возможность, она бы и его вздернула на фонарь!

*Предисловие и перевод с французского
Елены МОРОЗОВОЙ*